

СЕРГЕЙ **ЕСЕНИН**



ЖИЗНЬ МОЯ
ЗА ПЕСНЮ ПРОДАНА

Сергей Есенин

**Жизнь моя за песню
продана (сборник)**

«ЭКСМО»

Есенин С. А.

Жизнь моя за песню продана (сборник) / С. А. Есенин —
«Эксмо»,

«Без меня будут юноши петь, не меня будут старцы слушать...» Есенин оказался плохим пророком. Его не только поют и слушают. В канун третьего тысячелетия, согласно опросу, проведенному Институтом социальных исследований, он возведен в ранг Первого Поэта русского двадцатого века. И это не заключение ученых экспертов, а мнение народное. В расчете на самого широкого читателя составлен и этот сборник. Кроме избранных поэтических произведений и биографического эссе, написанного автором нескольких книг о Есенине Аллой Марченко, в книгу включены воспоминания современников, созданные в самые первые дни 1926 года, сразу же после трагической гибели поэта, а также иллюстрированная летопись его жизни и творчества.

© Есенин С. А.

© Эксмо

Содержание

Коль родился я поэтом...	5
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Сергей Есенин

Жизнь моя за песню продана

Коль родился я поэтом...

Пришелец из «вековой тишины», из таинственных самородных глубин, Есенин явился на русский поэтический олимп не просителем – «красным гостем» и, не остановившись перед «парадным подъездом», поднялся по великолепным лестницам как был – в валенках, в лазоревой косоворотке. На расстоянии «Пришествие» выглядит именно так, легенда стерла детали. Но если их восстановить, окажется: блистательному дебюту предшествовала отнюдь не блистательная репетиция – Москва чуть было не вернула «вербного отрока» в его «рязани», не заметив в не слишком старательном корректоре сытинской типографии «знаменитого русского поэта». Иногда, правда, печатали, но Христа ради, из уважения к «пастушескому» происхождения. Казалось бы, Петербург был крепостью еще более неприступной, но она сдалась почти без боя. Вспоминая начало, Есенин писал незадолго до смерти:

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
.
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

На первый взгляд, признание кажется модернизацией: в стихах Есенина тринадцати-шестнадцати годов нет вроде бы ничего, наводящего на мысль, что народный «златоцвет» и «златоуст» носит «за голенищем нож», что его тихость притворно-обманчива, что за вкрадчивым обаянием – готовность к прыжку. Современники запомнили скромного голубоглазого мальчика. Однако письма его к Александру Ширяевцу подтверждают, что Есенин если и преувеличивает, то не так уж сильно. Вот что он писал летом 1917 года своему другу-брату «по музе, по судьбам»: «Бог с ними, этими питерскими литераторами... мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок... а они... западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина. Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это – ты. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им, да и кинешь с плеч свою вихрастую голову...»

И когда пробил его час, стряхнул с себя тихость, взбаламутил литературный пруд, до сих пор расходятся круги!

Однако успех Есенина в Петербурге, почти необъяснимый после московского прозябания, не был ни улыбкой случая, ни счастливым выигрышем на «балу удачи». Б. Пастернак писал: «В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья... С наступлением нового века... мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить

высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству – искусству большого города, молодому, современному, свежему».

Петербург не просто отстал, произошло перераспределение интересов. Процесс был сложным. Содрав с русского искусства коросту провинциализма, он возродил, казалось бы, из небытия старый конфликт «западников» и «славянофилов», причем славянофильским центром благодаря монаршему покровительству становится Петербург. Москва ориентирует на запад, Петербург вводит в моду стиль ля рюс. Щукин покупает Матисса и Пикассо, Художественный театр ставит Метерлинка, Петербург увлекается частушками, Клюевым, аплодирует Плевицкой. Русомания захватила и столичную интеллигенцию. С. Городецкий вспоминал: «Мы все тогда переживали своеобразное народничество, мы все тогда бредили деревней...» Не удивительно, что в этой экзальтированной обстановке появление Есенина было воспринято как русское чудо, как пришествие отрока Пантелеймона. О нем заговорили, он стал модным, вокруг завязалась борьба. Наибольшую активность проявил, видимо, Клюев: сразу понял, что подросла «помочь». Блок, только что переживший «Поле Куликово» и мучившийся поздней и трудной любовью к «нищей» России, принял Есенина как ее полномочного посла, но, разглядев в «светлом отроке» еще и крепкого рязанского «мужичка», твердо решившего преуспеть, очень быстро охладел. Даже «на башне» у Вяч. Иванова к Есенину отнеслись благосклонно – весьма сочувственно, как свидетельствует тот же Городецкий, не лично к Есенину, конечно, и не к его стихам, а к факту «Пришествия», увидев в нем подтверждение своих философических предположений. Есенин же, со свойственной ему сверхчуткостью, мигом понял, что на этом Парнасе духа, несмотря на расточаемые ласки, он чужак, лазутчик. Потому и ухо держал остро, отмечая для памяти все проявления «снисходительности». Снисходительности он не простил не только «даме с лорнетом Зинаиде Гиппиус, но и самому Блоку. А между тем времени даром не терял – учился, у него был «умный ум», он умел ориентироваться и сразу понял, что ему надо:

«Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности».

Конечно, не Белый научил Есенина образности, но, видимо, утвердил в необходимости «раздвигать зрение над словом», дар, которым наряду с прочими многочисленными талантами Андрей Белый – этот несостоявшийся гений – обладал, может быть, в гораздо большей степени, чем его счастливые соперники – Маяковский, Цветаева, Пастернак. Клюев поставил голос, вернее, дыхание, Блок помог преодолеть лирическую осторожность.

Как ни странно, но в Есенине сочетались редкая самобытность и та обманчивая податливость, которая и дала основание молве о его несамостоятельности. После смерти спохватились: «В его обличье теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое» (А. Воронский).

Да, он мог влезть в чужую манеру с той же легкостью, с какой сменил бирюзовую рубашку оперного Леля на хороший английский костюм. Умел писать и как Северянин, и как Блок, и так, как писали в то время для детей авторы дорогих книг с золотым обрезом. Вынужденный проходить университеты культуры по ускоренной и урезанной программе, да еще и с «голоса чужого», он всюду снимал вершки. Подойдя вплотную к многомудрым идеям тогдашнего Петербурга, поступил, как варвар: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Сгодились многие, но ассимиляции не произошло: Есенин остался Есениным. Он писал в «Ключах Марии»: «...Этот пастух только и сделал, что... срезал тростинку, и уж не он, а она сама поведала миру через него свою волшебную тайну». «Пастух» – это и о себе: был у Есенина сверхъестественный дар – слышать «разумную плоть», и когда писал, в тех же «Ключах...»: «...Глазам нужно сделать какой-то надрез, чтобы они видели, что небо не оправа для алмазных

звезд – а необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти звезды живут, как многочисленные стаи рыб», – это не было насильственным воскрешением мифологического сознания. Ему-то не нужно было делать никакого «надреза», ибо родился с наивной мудрой верой: в мире нет ничего неживого.

Есенин остался бы в литературе, если бы даже не написал ничего, кроме «Радуницы» и «Голубени». Уже в этих книгах, просторных и ничьих, как березовые рощи, «пахло Русью». Именно пахло: знаменитая пушкинская метафора в случае с Есениным утрачивает свою условность. Он научился «запрягать» не только слова, но и краски, не только предметы, но и запахи, и при этом предельно оконкретил «лирическое чувство», обобщил его почти до поэтической сентенции. Страсть Есенина к образотворчеству поразительна. Об этом своем таланте он никогда не забывал, помнил, что в самом заветном его ларце хранятся инструменты для «тонкой вышивки» блистательных «имажей». Правда, в «Радунице» и отчасти в «Голубени» поэт как бы «таит тропу», скрытничает, выжидает, бережет самые крупные козыри. И раскошелиться душой не торопится – ни в говорениях, ни в стихах, твердо веруя: придет его время.

Февральскую революцию Есенин принял восторженно, как знак того, что в тяжбе со столыпинскими литераторами выиграл он, как сигнал к действию: кончай маскарад, начинай мутить воду, и пусть они выкусят! Рюрик Ивнев вспоминает, что в первые дни Февраля Есенин ходил сам не свой, точно опьяненный. Да и не только Есенин. «Смотрю, – продолжает Ивнев, – Клюев, Клычков, Орешин... Все какие-то новые – широкогрудые, взлохмаченные, все в распахнутых пальто... «Наше время пришло!» – шипит елеинный Клюев».

Октябрь, поначалу показался простым продолжением Февраля, в социал-демократических тонкостях Есенин не разбирался, понимая все по-своему – «с крестьянским уклоном». Поначалу виделся только вихрь, «бреющий бороду старому миру». Вихрь этот выносил его из нежных отроков в пророки, с заросших резедой и кашкой рязанских перелесков на почти библейские высоты Инонии – утопического мужицкого рая, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», чтобы он, «пророк Есенин Сергей», сбросил со сказочных высот «золотое яйцо» новой правды.

В. Полонский вспоминает: «Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружился в творческом неугомоне. В нем развязывались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи – он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль... Надо было слышать его в те годы: с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную «Инонию».

«Инония» была только фрагментом; в течение двух с небольшим лет Есенин написал целую книгу поэм: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор». Он затеял нечто небывалое – не то храм мужицкому чудотворцу, не то памятник коровьему крестьянскому богу, не то языческие игрища в честь телицы-Руси. Нечто торжественное, грандиозное, исполненное истовой веры в спасительную силу искусства, в право поэта «преображать мир посредством образа».

«Философический план», по которому Есенин возводил свое уникальное сооружение, устарел раньше, чем началось строительство. Есенин словно бы перестал чувствовать время – токовал и слушал лишь самого себя. Даже «замечательная «Инония», даже удивительный «Пантократор», не говоря уже о «Сельском часослове», не получили никакого отклика. За «Инонией» утвердился репутация малоудачного произведения, на «Небесном барабаннике» крупный редакционный работник той поры написал: «Нескладная чепуха».

Тщательно подготовленный выход был выходом перед почти пустым зрительным залом – Есенин наконец понял это и растерялся, впервые в жизни растерялся. До сих пор он был так прочно связан со своей крестьянской купницей, чувствовал себя защищенным этой общно-

стью, верил, что «плуг бури» расчистит для крестьянского искусства луга заповедные. А оказалось, что повелевают бурей не его знакомые эсеры, во главе с Ивановым-Разумником, а мало понятные серьезные люди – большевики, что никто не интересуется ни феноменом русского духа, ни истоками русской национальной жизни, в результате чего не только он, Есенин, но Клюев, не только Клюев, но и Иванов-Разумник отодвинуты «американской», материалистической, так кажется Есенину, реальностью на периферию, задворки жизни.

К тому же он стал догадываться, что и их купница – объединение не слишком прочное, что и Клюев, и «Разумник Васильевич» не столько болеют за народ, сколько шаманят. Подобное с ним приключалось и раньше: за очарованием – безочарование, за безочарованием – разочарование. Но тут, с Клюевым, разочарование давалось не легко. Да, он начал подозревать в Клюеве ряженого, а благодарность осталась. Есенин был из тех, кто не забывает ни одной оказанной ему услуги. Он посылал Клюеву посылки, официально именовал учителем, в письмах был неизменно почтителен и сдержан, но знакомым жаловался: «Ей-богу, пырну ножом Клюева». Клюев не давался, Клюев ускользал, обманывал, сбивал с толку, Клюева Есенин не понимал – то жаловался: Клюев обогнал русского мужика, то завидовал: олонекский знахарь хорошо знает деревню. И то и другое было правдой. Есенин разглядел в затейливой образности «песнопевца» искусственность, стилизаторство, сусальность и тяжело признавался Иванову-Разумнику: «То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся... Он «весь в резьбе молвы», то есть в пересказе уже сказанного. Только изограф, но не открыватель. А я «сшибаю камнем месяц...» Кроме того, Есенин чувствовал: лирический поток вырвался из-под контроля, вот-вот сметет-смоет и Радонеж, и Китеж, и песенно-голубую Русь, и ее балакиря, чувствовал и предвидел: бесконтрольного «половодья чувств» в купнице не поймут и не примут. И предупредил раскол – оторвался. «Я от бабки ушел, я от дедки ушел и от тебя, лиса, и подавно уйду...»

Впрочем, желание отделиться, выселиться на «отруба» родилось давно. Он не желал быть «младшим братом», не хотел, чтобы тыкали Клюевым – не любил вторых ролей: народный златоцвет номер два? И все-таки то, что Есенин внезапно, словно актер, переманенный из народного в коммерческий театр, пересел из увитой колосьями маскарадной телеги клюевской группы в щегольской экипаж имажинизма, выглядело и неожиданным, и необъяснимым. Легкость, с какой Есенин «сменил» идеалы, возмутила не одного Клюева. Однако между этими событиями, издавека, для нас почти одновременными, пролегла целая эпоха.

В начале 1918 года Есенин, дезертировав из армии Керенского, некоторое время провел в Константинове. На родине было несладко, мужики жрали мякину, и он перебрался в Москву. На жительство. Печататься, правда, продолжал в Петербурге, теперь уже Петрограде, в левозеровских изданиях.

Г. Устинов вспоминает: «Это был 1918 год... На одном из литературных собраний в помещении издательства ВЦИК, на углу Тверской и Моховой... появился среднего роста желтоволосый, слегка курчавый мальчик, в поддевке, в «гамбургских» сапогах, голенища бутылочками, в сереньком, довольно длинном шарфе... Желтоволосый мальчик приветливо улыбался решительно всем».

Появление Есенина в издательстве ВЦИК Устинов объясняет тем, что после того, как эсэрь ушло в подполье и их орган – «Знамя труда» – закрылся, Есенин «повернулся лицом к большевистским Советам». Вряд ли это так. Ведь тот же мемуарист свидетельствует, что именно на этом собрании мальчик в сереньком шарфе выступил со странным заявлением: «Революция... это ворон, которого мы выпускаем из своей головы на разведку... Будущее больше». Его никто не понял. Однако в этой спотыкающейся и маловразумительной фразе – Есенин не умел говорить публично – вполне определенная и очень продуманная позиция, получившая обоснование в уже упоминавшемся эссе «Ключи Марии»: «То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем,

что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем-образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности».

К деятельности Пролеткультов Есенин вообще относился с внимательной настороженностью. Кстати, он имел возможность наблюдать пролеткультовцев в быту и крупным планом. По приезде в Москву (в 1918) Есенин жил вместе с С. Клычковым в помещении Пролеткульта, в бывшей ванной комнате купцов Морозовых. От этого территориально-пролеткультовского периода – связи Есенина с пролетарскими поэтами Полетаевым, Кирилловым, Герасимовым. И дружеские, и творческие. Но в целом атмосфера пролеткультовских сборищ, их фанатизм, их истовая вера в исключительность пролетарской культуры не могли не оттолкнуть Есенина. Поэтому даже Блок, так и не преодолевший, по убеждению Есенина, «голландского романтизма», Блок, «по недоразумению русский», – был ближе. На похоронах Блока Есенин заявил Кириллову: «Это вы, пролетарские поэты, убили Блока».

Воспоминания Г. Устинова дают основание предполагать, что и «Ключи Марии», и выдержка из этого трактата, произнесенная на собрании в издательстве ВЦИК, были чем-то вроде манифеста – сводом условий, на которых Есенин соглашался «сопутствовать», то есть сотрудничать в качестве «попутчика». От него отмахнулись. Здесь, в Москве, он был никем, этот слегка курчавый мальчик в сапогах бутылочками – постановление о работе с известными писателями, доставшимися новой власти от старого мира, его вроде бы и не касалось. Есенин обиделся, но не настолько, чтобы уйти в душевное подполье и жить константиновским балакирем. А обидевшись, решил, что обиделся вместе с русским мужиком и за него тоже. Драматичность положения усугублялась тем, что при этом он не желал ни быть, ни слыть ходоком по рязанским делам. Его эгоцентризм даже со стороны казался преувеличенным. В одной из автобиографий он так и написал: «Крайне индивидуален». Свою крайнюю индивидуальность Есенин носил подчеркнуто элегантно, так же, как знаменитую, пушкинскую, крылатку, и она была ему к лицу, но за ней было наследственной привычкой к одиночеству. В глубине души он, верно, и не знал, что с ним делать. Вот и прятался от крайностей, от самого себя в купницы, группы. Он и ходить-то боялся один: «по московским изогнутым улицам» его всегда сопровождали то ли телохранители, то ли собутыльники, то ли просто почитатели – люди свиты. И жить не умел один...

Все это вместе взятое потребовало более сильных и острых средств выразительности, и вот он уже замазывает черной краской золотые орнаменты, богохульствует и плачется в им же самим возведенном храме вечности!

«Левой! Левой! Левой!... – командовал Маяковский, – кто там шагает правой?» – Правой шагал Есенин, ломая строй. Он ерничал и показывал кукиш: «Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем». Он обличал и грозил: «Веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего». И сам понимал бессмысленность своего бунта: выбирать-то не из чего: «Любо не любо, знай бери». Резко изменилась эмоциональная настроенность его поэзии. Она стала нервной, напряженной, трагической. Есенин разучился казаться «улыбчивым и простым». Он еле сдерживает крик.

Но не страхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Уже не «вихрь», «бреющий бороду старому миру», комета, грозная и хвостатая, что сулит она ему? Он становится суеверным и мнительным, всюду видит зловещие приметы, знамения, знаки, предвещающие «беду над полем». «Погибельный рог», «черная гибель» – вот лейтмо-

тив его лирики 1920–1921 годов. А вчуже, даже относительно благожелательным лефовцам, кажется: Есенин хитрит, раньше других сообразив: биография, поставленная наперекор волнам времени, – мощный источник поэтической энергии. Высказывались мнения и еще более категоричные: хулиганство Есенина – ушедшая в кабак контрреволюция. И все-таки Маяковский почувствовал верно: Есенин по-своему завидовал пролетарским поэтам, видевшим перед собой ясный и оптимистический путь, и уже после смерти «звонкого подмастерья» извинился за своего соратника – Николая Асеева, писавшего в 1922 году: «Сергей Есенин, зная правильный путь поэта современья, считает его по каким-то причинам неудобным... Есенин хочет во что бы то ни стало отпихнуться от классового самосознания... Как хитрый деревенский парень, он чувствует, что борьба еще не кончена и не желая терять в своей поэтической работе ни пяди, пытается пройти мимо тягот и черной работы поэтов нашего поколения».

В этой безвыходной ситуации вступление в Орден Имажинистов могло показаться и, видимо, показалось чем-то вроде выхода из тупика. Но Есенин опять просчитался, опять оказался хотя и в купнице, но сам по себе, со своей никому не нужной здесь «органической фигуральностью». Впрочем, он всегда спешил, при всем своем умном уме и осторожности – спешил и жить, и чувствовать, и умереть – поторопился.

Все условия Договора, заключенного магистрами Великого Ордена, на людях долгое время соблюдались почти исправно, но на первый план, в качестве объединяющего принципа, выдвинулись не творческие соображения, а коммерческие: кафе, отношения с издательствами, заботы о рекламе и т. д., и т. п.

После возвращения из-за границы (август 1923) Есенин практически вышел и из этой купницы. Разрыв был почти безболезненным. Даже с Мариенгофом. «Милый Толя» стал «благополучным кондитером», как съязвил Рюрик Ивнев. Из кондитерского благополучия так уютно было жалеть Есенина: вот, де, сгорает криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папирота – «дым от нее ел глаза» и «от этого щемило сердце». Впрочем, ощущение – Есенину помочь нельзя, кажется, стало чем-то безоговорочным, как заключение судебной экспертизы. Ему почему-то подчинились все – от Маяковского до Клюева. Все, кроме «большой заботницы» Галины Бениславской; она-то пыталась убедить Есенина, что приговор – не окончательный, но делала это так неумело, что, кажется, только убедила его в обратном...

При всей видимой удачливости была в Есенине трагическая обреченность, в которую он сам верил, убеждая друзей, повторял: «Я ведь божья дудка... Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет, пополнять ему нечем и не интересно». Верил и не сопротивлялся, наоборот, с тихой печалью и непонятым окружающим упорством потворствовал, подогревая в себе, провоцируя «реакции конфликта» (как сказали бы медики), эксплуатируя предрасположенность к боли. И еще была странность, и тоже фатальная: не выносил одиночества, панически боялся его и в то же время всерьез ни в ком не нуждался. Его недаром любили чужие дети и чужие собаки. Он был легкий, как птица, и как птица, ничей. Этим – охранял свое. Да, чувствовал себя существом с другой планеты, из другого, иного мира, стеснялся этого, и хотел быть как все: определять литературную политику, редактировать журнал. Даже уезжая в Ленинград – умирать, мечтал «по-мальчишески – в дым»: «В Ленинграде он, наверное, женится, только на простой и чистой девушке. Через Ионова устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать. А по весне, пожалуй, следует съездить за границу, к Горькому».

Это та его половина, которая хотела быть как все, строила такие трезвые разумные планы. А другой Есенин – отмеченный «особой метой», чувствующий себя «божьей дудкой», знал: ни жить, ни работать в Ленинграде не сможет: слишком чужим, «заграничным» был этот город...

Имажинизм был для Есенина возвращением – не только с высот Инонии на грешную землю, но и к самому себе. Увлечшись ролью Нового Сеятеля, он как бы забыл, что, кроме пророка Есенина Сергея, есть еще и просто Есенин. Но отказавшись от богостроительных пре-

тензий, от мистического изографства, поэт не отказался от сложившейся в орнаментальных поэмах поэтики, он лишь решительно освободил ее от символической многозначительности.

«Суровый мастер» демонстрировал «изобретательность до остервенения», а худенький и слегка курчавый мальчик, глядя застывшими, как молоко, глазами, испуганно шептал: «Мне страшно, – ведь душа проходит, как молодость и как любовь», и, чтобы избавиться от детского страха, чудачил, повесничал, хулиганил – лечил душу среди отверженных и пропащих, утишал свою боль и свою бесприютность чужой бесприютностью и чужим горем. «Играй, играй, пастушок. Вылей звуками мою злую грусть». А грусть и в самом деле была злая: «Сыпь, гармоника. Скука... Скука... Гармонист палыцы льёт волной. Пей со мною, паршивая сука, пей со мной».

Приступам тоски Есенин был, кажется, с детства подвержен. Тоска подбиралась неожиданно, нападала врасплох, и тогда все теряло и цвет, и вкус, даже есенинская жадность к жизни, его ненасытная душа, которая, казалось бы, «лопала» все, без разбора, «проходила», и он писал странные, сейчас воспринимающиеся как пророческие, стихи: «В зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь».

Но в стихах про кабацкую Русь тоска стала, как выразился один из критиков той поры, «душераздирающим тоскованием». «Тоска, – плачется Есенин и роняет слова необычайной нежности. Тоска, – кричит и бросается площадной бранью, от которой шарахается испуганный прохожий. Русская лирика не знала, может быть, такого пронзительного, душераздирающего тоскования».

«Москва кабацкая» положила начало широкой известности Есенина. До сих пор он был все-таки поэтом для избранных, для узкого круга, а теперь попал в фокус всеобщего внимания. Настоящая слава пришла к нему только после смерти. Однако когда, в «Анне Снегиной», он называет себя знаменитым русским поэтом, ссылаясь на «стихи про кабацкую Русь», это не похвальба. Если литераторы уже после выхода «Трехрядницы» перестали относиться к Есенину как к вербному отроку, то читательским вниманием он овладел, в три с небольшим года выбросив на книжный рынок «Исповедь хулигана» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924). И дело не в рекламном скандале, подогревавшем спрос. Конечно, запретный плод сладок, однако нецензурность «Москвы кабацкой» (в широком смысле) сильно преувеличена. Да и могут ли несколько нецензурных строчек придать такую притягательность имени поэта?

И «Избранные стихи», изданные в Москве, и сборник, вышедший в Берлине, строились как обычные собрания сочинений, представляли Есенина широко, во всем объеме. Однако читательская избирательность схватывала, ловила, заучивала наизусть, растаскивала на цитаты именно те стихи, где боль «перестроения великого» сочилась из каждой строчки.

Есенин наконец-то отпустил тормоза. Он, такой осторожный, умевший и примениться, и приспособиться, перестал и сдерживаться, и рассчитывать – вышел в юпитеры, без маски и без грима, словно бросил вызов – «городу и миру». И к нему потянулись. И не только потому, что человек, сбросивший маску, разжигает любопытство. Но и потому, что почувствовали (если воспользоваться словами Цветаевой), что это уже не искусство, а нечто большее, чем искусство. «Примета таких вещей, – писала Марина Цветаева, – их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы не променяли ни на какие достоинства и избытки... Судить их как литературное произведение просто малость, настолько все это за порогом этой великой, как земная любовь, «малости искусства».

В безыскусной искренности подобных стихов было нечто жуткое. Такие стихи и требовали многого. Их нельзя написать. Их надо прожить. «Жизнь моя за песню продана».

После смерти Есенина говорили: растратил-де, разбазарил свой талант. А он жил как великий скупой, не позволяя себе бесцельных удовольствий. Даже чувство – любовь – было лишь «Каторгой», на которой его удел – «вертеть жернова поэм».

К 1924 году в отношении Есенина к Советской власти наметился перелом. То, что он поуспокоился и внимательно присматривается к Руси Советской, было немедленно замечено. «Комсомолия» писала в 1925 году: «Признаниями советской действительности в 1924 году никого не удивишь – и все же есенинское «признание» имеет свое социальное значение. Ведь Есенин поэт того поколения крестьянской середняцкой молодежи, которое было врасплох захвачено революцией, было выбито из колеи, колебалось между зелеными и красными, между махновщиной и большевизмом, металось между кулачеством и беднотой, выявляя свою неустойчивую, двуликую природу; вступив в зрелый возраст и увидев, что бушующий разлив вправлен в «бетонное» советское русло, поуспокоилось, одумалось, встало на путь попутничества, с рвением окончательно прозревшего». Однако, в случае с Есениным, и с рвением было не так-то просто.

Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам.

Слишком честный для того, чтобы, оставив душу – себе, отдать новой власти и новому строю только лиру, лиру без души – в услуженье, он, по сути, выбирает не выход – тупик: отдать душу и не отдать лиру – значит, перестать быть поэтом. Душа, как ни странно, оказалась проворнее, податливее, гибче, чем лира. Новая жизнь не поддавалась «преображению посредством образа», была такой же чужой, как парижские улицы, силуэты Петербурга... И он стал ревновать: Россию – к Маяковскому. Н. Полетаев вспоминает, что на новогоднем вечере в Доме искусств пьяный Есенин приставал к Маяковскому: «Россия моя, понимаешь, моя, а ты американец».

Американец в устах Есенина – ругательство. Урбанизм Маяковского, его умение извлекать музыку из «флейты водосточных труб» поражали Есенина больше, чем слитность автора «150 000 000» с классом. «Ляжет в литературе бревном, и многие об него споткнутся» – жаловался друзьям. Споткнется и ругается. И не жалел ругательств, изобретал все новые и новые: «главный штабс-маляр».

Казалось бы, обойди, но Есенин знал: не обойдешь, не объедешь. Рождался новый мир и новая красота, которую он не мог ни схватить, ни «прокусить» и к которой не хотел, по его собственному выражению, «присосаться налимом».

Враждебность подогревалась тем, что именно в Маяковском Есенин чувствовал главного соперника. Пастернак в счет не шел. Пастернак не претендовал на известность, на внимание широкой аудитории. Есенин не хотел прожить в искусстве Пастернаком. Пробовал устоять:

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.

Презрение не помогало. Ничто не помогло: ни вера в себя, в свой талант, даже самоуверенность не подсобляла. А может, эта всем видная самоуверенность была лишь защитной реакцией – хорошей миной при плохой игре? Но Есенин не только ерничал, злословил и хулиганил. Новой этике, оптимистической и экспансивной, пытался противопоставить свою:

Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

«Ранняя усталость», как ранняя седина при молодом лице, со стороны и вчуже, воспринималась как кокетство всеобщего баловня и любимца. Но Есенин не кокетничал, из одной крайности его бросило в другую. Н. Никитин вспоминает: «Как-то после одной истории я ска-

зал ему: – Сережа! Оставим дебоши... Чего тебе? Чтобы издевались?.. Или какая-нибудь сволочь раскроила тебе череп бутылкой... Как ты не боишься? – Он улыбнулся своей белокурой улыбкой: – Нет! Я замуриваю глаза».

И то, что он предпочитал, инстинктивно охраняя себя и свое, водиться лишь с поклонниками своего таланта (в чем нередко а справедливо упрекали), так и это оттого, что замуривался:

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть худшего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Словом, Есенин отступил и отступил на те вечные позиции, которым пока не грозили радикальные перемены: запел про любовь, про женщину...

Отступал он не очень решительно: отступая, втайне от всех, даже от самых близких, разрабатывал план нового наступления: «Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал еще более требователен. Только я пришел к простоте и спокойно говорю: «К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы». Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв».

Эти знаменательные строки написаны в декабре 1924 года в Батуми.

Есенин приехал в Грузию, в Тифлис, еще в сентябре. На первый взгляд, и эта поездка была отступлением, почти бегством.

1923–1925 годы – период острой борьбы между А. Воронским и так называемым «пролетарским лагерем». Пролеткульты были распущены, но пролеткультовский дух оказался живучим: его унаследовали печальной памяти и МАПП и РАПП. В борьбу оказались втянутыми даже олимпийски настроенные формалисты. В. Наседкин вспоминает, что Есенин, обычно старавшийся не обнаруживать своих литературных симпатий, попав как-то на литературный вечер, где выступали главным образом «мапповцы», его и пригласила туда знакомая «мапповка», ушел, не дослушав чтения прославленного поэта Х – «нервно, решительно, молча, даже не попрощавшись со своей спутницей». Словом, вопреки мнению молвы, убежденной, что «Есенин равнодушен к перипетиям литературной войны, поэт явно чувствовал себя дискомфортно (между молотом и наковальней), вот и убегал – «Вон из Москвы», так объясняя близким свою московобоязнь: «Вот в Грузии поэтам хорошо; Совнарком грузинский заботится о них, точно о детях своих. Приедешь туда, как домой к себе. А у нас что?»

На Кавказе ему было действительно хорошо. Всегда окруженный и притом множеством знакомцев, приятелей, почитателей, завистников, прихлебателей, Есенин с юношеских лет мечтал о Друге. О великодушной, щедрой, не разъедаемой ржавчиной зависти дружбе, и здесь, в Тифлисе, нашел то, чего не хватало всю жизнь: необременительное дружество:

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!
Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,

Люблю в пирах и разговорах.
Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты – все единой крови.

Тициан Табидзе приводит в своих воспоминаниях о Есенине фрагмент из его письма к Е. Лившиц, написанного в поезде Кисловодск – Баку в августе 1920 года: «Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. Я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности для меня путешествий... По намекам это все известно раньше и богаче».

А в 1925 Есенин признается тому же Тициану: «Грузия меня очаровала...» Так что же изменилось за пятилетку? Кавказские пейзажи? Или путешествия для Есенина утратили «вредность»?

Конечно, ни путешественником, одержимым страстью к «перемене мест», ни туристом, потребляющим пейзажи и виды, Есенин так и не стал. И все-таки: очаровала, ибо очеловечилась. «Далекая земля» перестала быть «чужой стороной», и теперь, думая о Грузии, поэт вспоминает не столько «грузинские кремнистые дороги», сколько лица – лица друзей:

Глаза глубокие,
Как голубые роги.

В «Ключах Марии» есть такое соображение:

«Да, мы едем, потому что земля уже выдыхала воздух, она зарисовала это небо, и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, ища нового, незаписанного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства протянуться еще дальше».

Тот же образ в письме к Табидзе (сразу же после признания в том, что Грузия его очаровала): «Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере – тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас».

В Москве и Питере необходимый для жизни и творчества (чтобы «через новые рисунки... протянуться еще дальше») «кислород» нужно было собирать – копить! и «выдыхать» экономно (не атмосфера, а кислородная подушка!). Кончался запас, и начиналось кислородное голодание. А здесь, в Грузии, в Тифлисе особенно, воздуха было столько, что даже его покалеченные («пустыней и отколом») легкие не задыхались. И воздуха вдоволь, и потолок выше. Но главное, наиважнейшее: «Приедешь... как к себе домой». Это и было самым, самым, самым! Ему, бездомнику, судьба, пусть не надолго, но подарила, даровала Дом, дом, полный друзей. Дом, в котором можно спрятаться от необходимости что-то решить – окончательно, бесповоротно выбрать, от неуверенности, от женщин, слишком настойчивых и требовательных, от долгов и обязанностей, от самого себя, от неизбежной очной ставки с «Черным Человеком», от ставшего горьким «меда воспоминаний»...

И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой ехали на Кавказ – за волей, вольностью: из дома – в бездомность, «в тот чудный мир тревог и битв». Есенин искал уюта, уюта и обороны «от зол и бед».

Николай Вержбицкий, бывший в ту пору выпускающим тифлисской русской газеты «Заря Востока», затащил как-то Есенина в только что открывшийся в Тифлисе коллектор для беспризорников. Вержбицкого поразило, как естественно держался «Сережа», как умело употреблял жаргонные босяцкие слова и обороты и как правдиво прозвучал его выдуманный от начала до конца рассказ о том, как и он был беспризорником, голодал, и как потом, найдя в

себе силы расстаться с бродяжничеством, подыскал работу, выучился грамоте, начал писать и печатать стихи.

Но только ли благодаря природному артистизму Есенин так хорошо и точно сыграл роль бывшего беспризорника? И выдуманный ли это рассказ про бесприютную, беспризорную жизнь?

Нет, идиллии не было! И здесь, в Тифлисе, Есенина, на первом же публичном выступлении чуть было не освистали, публика была настроена революционно; хорошо, что «дядя Коля» (Н. Вержбицкий) вовремя подсказал, что нужно читать, чтобы вернуть расположение зала, – о революции, о Ленине – «Гуляй поле».

И все-таки было чувство дома, была забота, оборона, и потому как-то само собой улаживалось многое, и даже то, житейское, на что в московском бесприюте Есенину приходилось тратить слишком много душевных сил.

Почему-то многие считали его расчетливым, несмотря на то, что попавшие к нему в руки деньги моментально улетучивались, несмотря на то, что всегда был без денег и никогда не отказывал, если просили – после смерти на сберкнижке оставался один рубль. В имажинистский период в нем, видимо, и в самом деле почти прорезалась доставшаяся от деда по праву генетического родства хозяйская хватка. Но даже в его нарочитом, на фоне тогдашней бедности, франтовстве («Я не отдаю воротничков в стирку, я их выбрасываю») было что-то детское. Мальчик в сереньком шарфе, дерущий втридорога за выступления, брал реванш, мальчик в голубенькой косоворотке доказывал: знай наших! Его иногда за глаза, а то и в глаза звали «милым другом» – знает-де, цену своему обаянию. Мариенгоф писал не без раздражения: «Есенин знал, чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу. Обычно любят за любовь, Есенин никого не любил, и все любили Есенина». Но это легенда. Да, казался самоуверенным, повторял: я – Есенин, стихи, талант. «Я о своем таланте много знаю». А вот настоящей цены ни себе, ни стихам своим не знал. Потому и боялся, что обведут вокруг пальца, как дурачка, облапошут, боялся и был настороже. Потому казался удачником. Даже проницательному и тонкому Александру Воронскому. Вот что писал редактор «Красной Нови» в знаменитой статье «Об отошедшем»:

«Его поэтический взлет был головокружителен, у него не было полосы, когда наступают перебои, паузы, когда поэта оставляют в тени или развенчивают. Путь его был победен, удача не покидала его, ему все давалось легко. Неудивительно, что он так легко, безрассудно, как мот, отнесся к своему удивительному таланту».

Увы, и Воронский поддался гипнозу молвы о счастливчике, об Иване-царевиче русской поэзии. Но и это не было, а небыль. Галина Бениславская видела иное: «Удача у него так тесно переплелась с неудачей, что сразу не разберешь, насколько он неудачлив».

Разобраться и в самом деле было трудно – для этого надо было подойти поближе. Издали был виден только сияющий и светящийся, как реклама, нимб почти легендарной, с привкусом скандала известности. И это слепило, сбивало с резкости.

Юрий Олеша вспоминает: «Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней... слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем, о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем его видят, о его скандалах, даже о его славе».

И Олеша передает легенду. На самом-то деле Есенин не был «сказочно красив». Вот как описывает наружность поэта один из тех, кто чудом остался не чувствительным к гипнозу бежавшей впереди поэта молвы: «Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо. Не знаю, почему принято писать о «красоте и стройности поэтов»... Есенин был некрасив. Он был такой, как на рисунке Альтмана. Славянское лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо было неправильное, с небольшим лбом и мелкими чертами. Такие лица бывают хороши в отрочестве».

Грузию не обманули ни английские костюмы, ни французские шарфы «северного брата». Здесь умели глядеть – сквозь легенду, и сразу догадались, что в быту «Сережа» беспомощен, как двухлетний ребенок, что он органически не умеет, не может создать нужной для жизни и работы обстановки, просто, по-человечески устроить свою жизнь. Ника Табидзе, жена Тициана Табидзе, пишет в воспоминаниях о Есенине: «В одно утро я захожу к нему, он еще лежал в постели и смотрел в потолок, а на глазах застыли слезы. Я взволновалась, спросила, в чем дело... Сережа ответил мне, что он видел во сне сестру, которая очень нуждалась в деньгах и плакала. Я начала его успокаивать и сказала, что этому легко помочь. «Пойдите в «Зарю Востока» к Вирапу (редактор газеты), и он даст вам деньги за стихи». Он обрадовался, вскочил, оделся и убежал».

Прошло несколько часов.

«Открылась дверь, вбежал Есенин с громадным букетом белых и желтых хризантем, обсыпал ими меня и, страшно обрадованный, сказал: «Вирап дал мне деньги, я перевел сестре, и я счастлив!»

Столь же теплый прием был оказан поэту и в доме № 15 по Коджорской улице, в семье Вержбицкого, и это так трогало Есенина, что он охотно, с удовольствием помогал своим «заботникам» по хозяйству. То же самое произошло, кстати, и в Баку. Гастролировавший там В. Качалов с удивлением обнаружил: «Ему здесь «все позволено». Ему все прощают».

В грузинском быту, точнее, укладе Есенина не мог не очаровать и еще один момент – театральность, не в узком, расхожем, а в том всеобщем, универсальном смысле, какой, к примеру, вкладывал в это понятие Вл. Одоевский: «Театр есть тот же мир, но мир поэтический». В России бытовой эстетизм Есенина, болезненная реакция поэта на неблагообразие тогдашнего интеллигентского бытования воспринимались как чудачество. А в Грузии он мог позволить себе осыпать Нику Табидзе белыми и желтыми хризантемами, не вызвав у присутствующих при этой сцене ни недоумения, ни снисходительной улыбки. Пастернак удивлялся: «Есенин к жизни своей относился как к сказке». Не знаю, выдержит ли испытание сказкой трагическая жизнь поэта, но то, что порой он как бы утрачивал чувство реальности, что «розовый конь» воображения иногда переносил его в иную действительность, где «все нам нравится и все представляется в поэтическом образе», – несомненно. Вот что писал, к примеру, Сергей Александрович своей приятельнице Анне Берзинь вскоре по приезде в Тифлис: «Я Вас настоятельно просил приехать. Было бы очень хорошо, и на неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран... Погода там изумительная, и такие замечательные шали, каких Вы никогда в Москве не увидите».

Анна Берзинь, как и следовало ожидать, настоятельной просьбе поэта не вняла, но в Москве все-таки увидели замечательные шали. Возвращаясь из «страны чудес» – «в Русь», Есенин прихватил их с собой, не вещи, нет, – пропуск в сказку.

Софья Виноградская, соседка поэта по московской квартире, рассказывает: «Есенин нуждался в уюте... страдал от его отсутствия. Это на нем сильно отражалось. Большой эстет по натуре, он не мог работать в этих условиях. И чтобы хоть немного скрасить холод голых стен... и зияющих окон, он драпировал двери, убогую кушетку восточными тканями... занавешивал яркой шалью висячую без абажура лампу... он и голову свою иногда повязывал цветной шалью и ходил по комнате неизвестно на кого похожий».

Удивлялись соседи, недоумевали домашние, но поэт знал, что делал: благодаря столь малой малости преображалась убогая комната, все преображалось, сдвигалось в сторону вымысла и красоты:

Ну, а этой за движенье стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана

И ковер ширазский подарю.

В настоящую «Персию» Есенин, разумеется, не попал, но «синие цветы Тегерана» не выдумал: ему подарил их Тифлис. Борис Пастернак, в очерке о Бараташвили, имея в виду русских современников грузинского поэта, писал: «Сверх пестрой восточной чужеземщины, какую встречал их Тифлис, они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаенное».

Из пестрой восточной чужеземщины, которой встретил Есенина Тифлис, и возникли «Персидские мотивы». Неожиданно. Вдруг. Случайно. Почти «ради шутки», ибо он уезжал на Кавказ не за этим. Сказка написалась сама собой, «заодно с другими». Тициан Табидзе свидетельствует: «В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхаидзе свое «Возвращение на родину». И думается, не случайно прочел. Он затеял «прекраснейшую поэму» – «Анну Снегину». Замысел возник еще летом, после поездки на родину, в Константиново. «Возвращение...» было эскизом к будущей картине. Второй эскиз – «Русь уходящая» – написан уже в Тифлисе, осенью 1924 года. Вот что сообщает об истории его создания уже известный нам Н. Вержбицкий: «Четырнадцатого сентября в Тифлисе состоялась... демонстрация в честь... Международного юношеского дня. Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые, мускулистые ребята в трусиках и майках... Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав: «Эх, Сережа, если бы и нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!» Есенин... внимательно посмотрел мне в глаза. По-видимому, эта моя взволнованная фраза задержалась в его сознании. И спустя полтора месяца я прочел в поэме «Русь уходящая»:

Я знаю – грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрать штаны,
Бежать за комсомолом.

«Вспоминаешь?» – спросил у меня поэт, когда эти строки появились в «Заре Востока».

И когда сопоставляешь,водишь все это вместе: свидетельства грузинских друзей поэта, стихи, написанные в Грузии, письма, отправленные из Тифлиса, Батума, возникает совершенно твердая уверенность: Есенин уезжал на Кавказ не для того только, чтобы рассеяться, отвлечься, отдохнуть, освежить душу кавказским солнцем и кавказским гостеприимством, уезжал с надеждой, что там, за хребтом Кавказа, совпадает с «большой эпической темой», то есть не просто «как к себе домой», но еще и словно бы в «дом творчества»,

Чтоб воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забить ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

Стихи эти – «На Кавказе» – написаны сразу же по приезде в Грузию, не позже 13 сентября 1924 года.

Конечно, и этот есенинский план, как и многие другие «прекраснейшие мысли и планы», мог так и остаться благим намерением. К счастью, не остался. «Гортанный шум» Грузии если и не совсем исцелил, то дал силы и возможность преодолеть сопротивление необычайно труд-

ного материала. Есенин, по его собственному слову, «ломал себя». Он решился-таки впустить в свой затейливо-романтический мир и «некрасивого» рязанского мужика, и не изящную деревенскую «жисть». А для этого надо было не просто перестроить, но и сломать прежнюю поэтику, а главное, овладеть живым разговорным языком. Все тот же Вержбицкий рассказывает: «Есенин часами мог слушать живописные рассказы Рыженко (тифлисский художник, приятель мемуариста. – А. М.) о первых днях октябрьского переворота, о разгроме помещиков, о комбедах, о шаткой позиции буржуазной интеллигенции. У меня нет сомнения в том, что эти рассказы подтолкнули Есенина к работе над уже задуманной поэмой «Анна Снегина», он и сам намекал на это». Очень интересное свидетельство, хотя, видимо, мемуарист несколько сместил акценты. Не воспоминания Рыженко о первых днях октябрьского переворота подтолкнули Есенина к работе, а, наоборот, не прекращающаяся ни на минуту работа над ней заставляла его часами слушать Рыженко. И то, что тот говорил, и то, как говорил. Не одно только чередование любопытнейших фактов интересовало поэта, «одновременно он прислушивался к языку Рыженко – сочному, выпуклому, живому».

Наблюдение Вержбицкого подтверждается и свидетельством В. Наседкина: «Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык, может быть, важнее, чем для писателя прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих, интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально сильно окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка».

И вот что, по-моему, важно отметить. Очутившись, по приезду в Грузию, в иноязычной среде, Есенин на расстоянии яснее, отчетливей «расслышал за пылом» тот речевой гул, из которого родилась интонация и даже тембр «Анны Снегиной», а рассказы Рыженко, по всей вероятности, служили чем-то вроде камертона. Не надеясь на свой слух и память, поэт выверял непривычное, новое звучание стиха, настраивал его.

Тифлисские знакомые Есенина не без удивления вспоминают, что «Сережа», не в пример прочим «кавказским пленникам», не оценил достоинства грузинской кухни. Заскучав на восточных разносолах, упросил тещу Тициана Табидзе сварить борщ и гречневую кашу. А уж своей тоской по черному хлебу даже и поднадоел. Но вряд ли и это было всего лишь гастрономическим капризом. Восточная шаль в московской убогой коммуналке помогала ему и думать, и писать «про персидское». Отсутствие черного хлеба мешало работе над русской поэмой.

Наверное, мешало не только это. Мешали и «пиры», и «разговоры». И тем не менее: так много и напряженно, как в Грузии и в Баку, под крылышком у Чагина (в то время второго секретаря ЦК Азербайджана), Есенину давно не работалось. Пожалуй, с тех самых пор, когда он на гребне первой революционной волны писал свои крестьянские поэмы.

«Он чувствовал неиссякаемый творческий голод. Из уже достаточно собранных материалов для биографии поэта можно уследить, что грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за этот период он написал чуть не треть стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве» (Т. Табидзе. «Есенин в Грузии»).

Вначале, правда, поэт, судя по первым, осенним письмам из Тифлиса (1924), не очень-то надеялся на вдохновение, хотел, было, даже после крупного билиардного проигрыша вернуться в Москву «к морозу и снегу», хотя, уезжая, уверял: «года на два», не меньше. К счастью, настроение переменилось, и очень скоро.

Тифлис. 29.10.24.

«Потихоньку принимаюсь за большие работы».

Батум. 14.12.24.

«Работаю и скоро пришлю Вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал».

Батум. 17.12.24.

«Работается и пишется мне дьявольски хорошо».

Батум. 20.1.25.

«Пишу еще поэму».

Зима 1924–1925 гг. на Черноморском побережье Кавказа выдалась на редкость холодной. «Выпал снег. Ужасно большой занос. Потом было землетрясение» (Есенин). Было не только холодно, но и скучно, особенно после тифлисского многолюдства и разнообразия. И все равно – работалось: «Я скоро завалю вас материалами. Так много и легко пишется в жизни очень редко».

Есенин по неделям не выходил из батумской квартирки Льва Повицкого, куда перебрался из слишком буржуазной гостиницы, и море было совсем не синим, как «индиго», а зимним, суровым («Я думал, что мы погибнем под волнами прыгающего на нас моря»), и в комнате – холодина («Я даже карандаш не в состоянии держать»). Субтропический Батум был явно не приспособлен к столь неожиданным отступлениям от климатической нормы. И тем не менее поэтический запой продолжался: «Стихи пишу... в голове неуютной...»

Расстояние увеличило остроту зрения. Еще недавно он опасался, что впечатлений, какие вынес «из сонма бурь», не хватит на эпическую поэму:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.